* * *

летний город тягуч будто ветка в зной
к ночи жар спадает
и он лоснится
стриж не лаковый — прописной —
небольшая чудная птица

голова болит и легко понять
обездоленных и калек
долгий воздух ночной кровать
обступил как вчерашний снег

неужели мне никогда ни с кем
это время не взять в расчет
недоказанных теорем
запоздалая быль течет

и веселый стыд за любовь к себе
одиночество детских лет
где вернее буквы горит пробел
потому что вмещает свет

что ж теперь сопя в темноте лежать
рисовать в темноте стрижа
если только себя не жаль
если только не жаль себя

* * *

Если здесь тяжело и торжественно строго —
канитель обретенного слога вершишь.
Тише трав. Выше крыш.
Что ты слышишь? О чем, убывающий, помнишь?

Если можно прожить в языке,
как пришпоренный кнопкой портрет,
на вселенском висеть сквозняке
и с ума не сойти и не спиться...

Ляг в свою же ладонь хрупкой бабочкой света.
Этот воздух священ и так молод еще!
Напиши что-нибудь. Жди ответа.

Будет все хорошо.

* * *

Афанасию Фету

Пчела не от печали тонких плеч —
чтоб от Бальмонта чудный челн отвлечь.
Смотри и слушай — не пора еще
до вензелей чернильных истончиться:
тепло и славно, будто под плащом,
под тенью птицы.
Сиди себе, как поплавок, когда
железный жаркий полдень и вода
тяжелая, застывшая, большая.
Ни времени, ни слову не мешая,
сиди себе, проклюнувшийся вбок,
как маленький истории росток.
На звон и слог, на зов весла и челна
потянешься — возьми меня с собой!
И шум растет, и в берег бьются волны,
и лоб просторный ширится от волн.

* * *

Оставшийся взлетает и парит
над постоянством. Сумеречный вид
не тяготит, но к жизни возвращает.
И облако над яблоней болит
и всю огромность родины вмещает,
где только свет, где только свет нести
от смерти и тоски, от глупости

в пространство сна и клетчатого лета,
где шепчет мальчик «Господи, прости!» —
а вдруг не хватит радости и света...
К земле вернется аист-атеист —
бесплодный, грустный, как осенний лист, —
и растворится в немоте вещей.

И ничего не будет вообще.

* * *

Все — что знаю — тень цикория на снегу,
цепкие лапы птицы на его одряхлевшем тельце,
милое и старушечье, вроде Татьяны Пельтцер,
верное и бесстрашное, будто «Варяг» врагу
все не сдается — тонет.
Песню поет. И тонет.
...Господи, я идущий, мимо тебя идущий —
глуп, несмышлен и немощен: губы и молоко.

Ты высоко сидишь,
Ты далеко глядишь —
не-на-меня-глядишь.
Только тверда дорого — значит, слежался век.
Тихо и незатейливо воздух морозом вышит.
Сходишь с ума и слышишь:
долгий играет снег.

* * *

От ветра прятаться, спокойствия искать
в сырой земле, в варенье земляничном
и на губе, как проклятый, лабать
в обличье птичьем.
Во имя прошлого, где мнима благодать, —
не к свету тянешься, а в тень уходишь,
в чудную истончившуюся ять,
как в довоенный мандельштамовский Воронеж, —
где улица хрупка и говорлива,
а слово «слива» равноценно сливе:
цветет и зреет, падает и тлеет.
Ты говоришь и в сказанное веришь.
Так пусть воздастся каждому по вере!
Все остальное —
чуть дальше рук и лампы на столе —
огромный ветер.
Прячешься от ветра и ничего не ищешь на земле.

* * *

Ирине Ким

топинамбур и тмин — огородная эта наука
бестолковая буква круговая порука кивок
мы вернемся сюда чтобы кроткие чистого звука
черноземной земли не принять опровергнуть его

ничего ничего говорливое время настало
от калитки до ветки — махнуть беспокойным крылом —
от калитки до ветки до пойменного чернотала —
все скажи наконец ничего не оставь на потом

хорошо засыпать в тишине в оправданье покоя
представлять свой последний предел
одиночество трав водосбора ромашки левкоя
облака над водой
облака на воде

* * *

На приколе лодка мокла,
листья падали и были
так прозрачны, словно стекла
или слезы на могиле.
Что сказать о светлой боли,
странной боли о былом?
В помертвевшем чистом поле
я один, как в горле ком.
Остается след цензуры
черной тушью из письма.
Это не литература.
Это музыка сама.

* * *

Осталась яблоня и мокрая трава,
когда я встал с колен и вышел на фиг
из сада, из страны. Какая радость
уйти после дождя в иной предел!

Пусть бабочки с намокшими крылами
сидят на лавочке, как бабушки,
взлететь
не могут, да и странно это
в их возрасте, в России, в сентябре.

Пусть дедушки во снах по электричкам латают свои детские сачки.

Эфир приемника. Дрожит. Вечерний свет.
Скворцы кучкуются, готовятся к отлету,
природа госпитальная кружится...
И одиночество, наверно, тяжкий грех.

Но хорошо и страшно умиранье —
невиданный глагол готов к судьбе.

И вот среди покинутого сада,
и вот среди немеркнущего сада —
стоишь, и ветки тянутся к тебе.

* * *

И тусклый свет к утру совсем мельчает
и страшно слово вслух произнести —
как в лодочке — в намоленной горсти —
мне смелости мне света не хватает.
Пересыхает голос. Только шум
от кукурузника на самом дальнем поле.
Ясней я ничего не напишу
о вечности, о нежности, о боли.
Наступит утро. И меня услышит
одна трава, которая всегда
права,
и утро станет тише
от моего не-нужного труда.